

МИФЫ И ОБРАЗЫ СИБИРСКОГО ФРОНТИРА

Дарья Сергеевна Панарина,

кандидат культурологии,

старший научный сотрудник Центра гуманитарных исследований пространства

Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва

E-mail: yahiko@rambler.ru

В статье кратко рассматривается теория фронта применительно к сибирскому краю. Анализируется вопрос о существовании в Сибири мифа о фронтире по образу и подобию такового на американском Западе и о степени его влияния на общественное сознание и восприятие. Рассмотрены положительный и негативный образы Сибири и сибиряка. Доказывается несформированность сибирского мифа при существовании только разрозненных региональных образов.

Ключевые слова: фронтир; миф; образ; Сибирь; сибиряк; сибирский фронтир; тюрьма; кладёзь богатств; воля.

УДК 913:82(571.1/5)

Понятие фронта

Освоение новых пространств, заполнение «белых пятен» на карте мира – одни из важнейших стремлений человечества на протяжении всей его истории. Во все времена представители различных народов, а впоследствии национальностей находили, исследовали, захватывали и в конечном итоге колонизировали новые и новые территории. Колонизация как явление и как процесс была и остаётся актуальной темой для изучения, в частности и за счёт широты и многообразия феноменов, которые она порождает.

Одним из таких ярких «продуктов» колонизации выступает феномен *фронта* – динамичной границы, постоянно смещающейся в ходе освоения «диких» земель цивилизованными колонистами. Это граница, которая может быть представлена одновременно и как движущаяся линия, и как зона столкновения, ассимиляции и взаимовлияния всех культур и общностей, проживающих и развивающихся в данный момент времени на рассматриваемой территории. Важно учитывать не только изначальных поселенцев вновь осваиваемых территорий («варварские народности») и собственно самих колонистов, но и любых представителей других национальностей, не имеющих отношения к стране-монополии, но присоединившихся к освоению новых земель. Таким образом жителями фронта могут оказаться три основные категории:

- местное аборигенное население,
- колонисты-выходцы из монополии и
- эмигранты из всех возможных стран мира.

Ярким классическим примером подобного фронта служит американский Запад США.

Однако не менее интересен и другой случай возникновения фронта в процессе колонизации, пусть и не такой «классический» как американский – это *сибирский фронтир*, уже ставший актуальной и интересной темой для изучения в российской историографии и исторической, культурологической, социальной, географической и других науках. Здесь сложился значительно менее «агрессивный» нежели на Западе фронтир; сформировался вольный, но не демократический образ жизни у сибиряков – то есть тех, кто во втором-

третьем поколении родился и вырос в Сибири будучи потомком первых русских колонистов в сибирском крае [Вахтин 2011: 205]. В Сибири не было исконного понимания личностных прав и свобод наподобие английского, но не было и крепостного права. Это, с одной стороны, вовсе не приравнивало сибирского крестьянина к американскому фермеру, но, с другой стороны, выгодно отличало его от русского крепостного крестьянина. Различия с Европейской частью России можно найти во многих сферах жизни: другая жизнь, иная природа, люди другого склада. Вместо спокойных полноводных равнинных рек путешественников в Сибири встречали бурные, суровые северные реки; вместо солнечных лесов – крепкая беспощадная тайга. И жители Сибири были не в пример выносливее, смекалистее, сильнее и хитрее русских из Европейской части страны. Здесь не боялись вновь и вновь «сняться» с «насиженных» мест и осваивать новые земли, не страшились тягот суровой сибирской природы, споро брались за любое дело. Такая *динамичность* и выступает основной чертой любого фронта. И хотя в случае Сибири мы говорим не о внешней, а о внутренней колонизации, положение Сибири было схожим с Американским Западом по влиянию фронта на развитие края. Так мы подходим к вопросам формирования массового сознания, идеологии, мифотворчества. В большей или меньшей степени, но *фронт* всегда порождает мифы или, по крайней мере, множество разрозненных и противоречивых образов соответствующих территорий.

В настоящей статье мы стремимся ответить на два основных вопроса:

- сформировался ли на сибирском фронте *полноценный миф*, как на Западе США?
- породил ли этот миф «героя-фронтирсмена», достойного подражания, – а, если нет, то что и как на сибирском фронте сформировалось и смогло повлиять на массовое сознание.

Чтобы ответить на эти вопросы, мы сначала рассмотрим источники образов Сибири, а затем выделим и подробно проанализируем главные из сформировавшихся образов.

Источники формирования образов и мифов Сибири

С самого начала необходимо кратко определить, что мы понимаем под *мифом* и *образом* (эти понятия часто смешивают друг с другом, используют как взаимозаменяющие, что нам кажется ошибочным).

Этимологически слово «*миф*» восходит к греческому «*μῦθος*», которое изначально означало буквально «слово», «речь», и только позднее приобрело значение «сказка, легенда» [Doyle 1997]. Отсюда вытекает и самое общее значение мифа как объясняющего все первоначальные явления предания, «сказания о богах, духах, обожествлённых или связанных с богами героях, первопредках, <...> участвовавших <...> в создании самого мира, его элементов как природных, так и культурных» [Мелетинский 1990: 634]. При этом мифы, выступая «традиционными сказаниями, в тех обществах, где они пересказываются, воспринимаются как правдивое описание событий, произошедших в далеком прошлом» [Васом 1965: 4]. Это *мифологическое* значение мифа противостоит его *мифическому* значению, описание которого находим в любом современном словаре: миф как вымысел [Словарь...1984: 317], недостоверный рассказ, выдумка [Ожегов, Шведова 1999: 359]. Миф пластичен, может изменяться в изустном пересказе, но, тем не менее, всегда сохраняет неизменную основу и повторяет через поколения свою изначальную версию. При этом миф не есть сказка и должен пройти проверку временем, чтобы считаться таковым.

Миф – это не буквальное отражение определённых пластов культуры [Нонко 1984: 47]. Миф пронизывает все сферы жизни. Он входит в структуру подсознания, соединяет прошлое, настоящее и будущее, диктует основы нравственности и морали [Ващенко 2008: 3-9]. Миф нивелирует историческую точность; не апеллирует сухими фактами, а создаёт в массовом сознании нации устойчивое восприятие, стереотипы, понимание близкой людям действительности. В этом сила мифа.

Миф американского фронта отвечает всем описанным характеристикам мифа как такового. Более того, этот миф превращается в практически идеальное средство формирования *идеологии*, образа жизни, мышления, самосознания целой нации, которая не только живёт по его «правилам», но и пропагандирует *свою* «объективную реальность» в остальном мире – средствами политических операций и убеждения, через массовую культуру и СМИ, личным национальным примером в глазах мирового сообщества. Говоря о мифе фронта, мы подразумеваем его способность не просто отразить определённые пласты культуры, а фактически «с нуля» *сформировать нормы, устои, воззрения, менталитет целого общества, целой страны* [Панарина 2012]. Именно с таких позиций мы рассматриваем и сибирский фронт.

Образ, в свою очередь, можно назвать *составляющим элементом, частью мифа*. Образ уже мифа по значению; конкретнее, чувственней по восприятию; но и слабее с точки зрения его влияния на массовое сознание. В самом широком философском смысле «образ есть результат реконструкции объекта в сознании человека; понятие, являющееся неотъемлемым моментом философского, психологического, социологического и эстетического дискурсов. В гносеологическом дискурсе образ характеризуется через систему взаимодействия субъекта и объекта, через активное, преобразующее отношение субъекта к действительности. Главная его черта – репрезентация идеального, соединенного с нравственно-этическими и социально-культурными ценностями и оценочными суждениями. Образ, понятый как синтез наглядности и абстрагирования, является результатом продуктивной деятельности воображения, создающей различные модели и конструкции и проводящей мысленные эксперименты» [Новая... 2001]. Однако образ в большинстве случаев выступает более субъективно направленной категорией в сравнении с мифом. Образ служит иллюстрацией, вспомогательным элементом для формирования и воплощения идеи, «насаждения» идеологии в сознании народа или нации. При этом, в отличие от мифа, образ не способен самостоятельно сформировать идеологию, которая бы пронизывала все сферы жизни общества, влияла бы на восприятие мира каждым обывателем.

В XIX веке *источники* формирования образов Сибири были *аналогичны* таковым на Диком Западе: записки путешественников, литературные произведения, статьи и заметки из газет и журналов, визуальные источники – картины и гравюры, дагерротипы и фотографии. В XX веке к ним в России, как и в США, добавились кинематограф и новые СМИ – радио, телевидение, Интернет. На этом, впрочем, сходство между двумя комплексами источников заканчивается, а на первый план выходят *два кардинальных различия*.

Первое из них состоит в том, что до появления новых СМИ (да и после него) в Сибири главенствуют *письменные* источники: тексты профессиональных географов и путешественников-любителей, мемуары и письма, стихи и песни, очерки и рассказы, повести и романы, драматические произведения. Очень слабо представлено изобразительное искусство. Сибирь дала России величайшего живописца Василия Сурикова, но чисто сибирскими в его творчестве оказались только одна большая картина «Взятие снежного городка», галерея женских образов и часть пейзажных акварелей. И «Меньшиков в Берёзове», и даже «Покорение Сибири Ермаком» в первую очередь говорят нам о России, а не о Сибири. По сути, сибирская тема оказалась у Сурикова несамостоятельной – она была сознательно им подчинена задаче создания общероссийского исторического эпоса.

В США, напротив, сложилась целая школа *художников*, специализировавшихся на изображении реалий и мифов Дикого Запада. Самым ярким её представителем был Фредерик Сэкрайдер Ремингтон. Все они уступали Сурикову в таланте, зато в своей области творчества внесли весомый вклад в формирование особого, отдельного от страны в целом, образа её региона.

Второе (ещё более важное) отличие заключается в том, что даже взятые все вместе, источники образов Сибири не породили в России *своего особого жанра* – в отличие от США. Россия не может противопоставить американскому *вестерну* некий сибирский

«истерн». В Сибири были свои писатели, писавшие о ней с глубоким знанием материала, но их произведения в массе своей не стали популярными *к западу от Урала*. Так, в 20-томной «Библиотеке сибирского романа», изданной в первой половине 1960-х годов в Новосибирске, лишь «Угрюм-река» Шишкова и, в меньшей степени, «Строговы» Георгия Маркова и «Даурия» Константина Седых стали по-настоящему широко известны. Позже к ним добавились рассказы Шукшина и повести Распутина, комедии и драмы Вампилова, эпопеи Валентина Иванова и Алексея Черкасова. Но все они – и это самое главное – не произвели того же эффекта, что американская литература о Диком Западе: *не создали мифа о сибирском фронтире*. И то же самое можно сказать о не слишком многочисленных фильмах (включая экранизации романов Шишкова и Иванова), в которых действие происходит в Сибири: какие-то кусочки мифологии присутствуют, но в *цельную* впечатляющую мозаику они не складываются.

Негативный образ Сибирского края и сибиряка

Переходя к образам Сибири, сразу же подчеркнём, что наш анализ в значительной мере основывается на текстах известных читающей публике XIX – начала XX века русских писателей. В меньшей степени мы использовали тексты собственно сибирских авторов и путешественников в Сибирь. Практически «за кадром» было оставлено то, что писалось о Сибири в общероссийских «толстых» журналах. Их исключение из сферы нашего внимания объясняется тем, что недавно появилась фундаментальная работа [Родигина 2006], в которой обстоятельно показаны соответствующие образы Сибири. Этот *набор* (terra incognita; территория притяжения молодых честолюбцев; место чиновничьего произвола; место каторги; холодная страна «других»; ресурсная кладовая и крестьянское Эльдorado) в целом не вызывает возражений. Другое дело, что эти образы представляются всё-таки слишком *дробными*. В любом случае применительно к Сибири представляется более оправданным говорить о *двух больших образах* – *негативном и позитивном*. Эффект их восприятия достигался с помощью различных по эмоциональной окраске *малых образов*, таких, например, как образ бродяги или поселенца.

Сибирь на протяжении всей своей истории ассоциировалась в умах путешественников, жителей Европейской части России, иностранцев, представителей русской интеллигенции с *мрачной картиной холодного гиблого края*. Там нет радости, сама природа сера и уныла, а жизнь трудна и сурова, и навряд ли можно рассчитывать на лёгкое быстрое обогащение или создание крепкого добротного хозяйства без сверхчеловеческих усилий. Сибирь – страна ночи и страданий, страна изгнания, «самая большая тюрьма России», место ссылки и каторги. Этот поистине страшный образ Сибирской земли крепко укоренился в сознании российского человека и неоднократно встречается в высказываниях чиновников, простолюдинов и писателей. Приведём лишь несколько из множества цитат, описывающих образ мрачной Сибири. Особо отметим взятые из одного из самых первых описаний встречи русского человека с Сибирью и принадлежащие человеку негибавшей воли, которого не просто было запугать – протопопу Аввакуму:

Сверху дождь и снег, а на мне на плечах накинуто кафтанишко просто; льет вода по брюху и по спине <...>

Горы высокая, дебри непроходимые, утес каменной, яко стена стоит, и поглядеть – заломя голову! [Сочинения... 1989: 363-364].

Разнообразны образы Сибири у А.П. Чехова. Писатель рисует картину мрачного Иртыша, который «не шумит и не ревет, а похоже на то, как будто он стучит у себя на дне по гробам» [Чехов 1956: 19], и прекрасные и живописные берега Енисея:

Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость. <...> На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том – горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные [Чехов 1956: 19].

И хотя условия жизни в Сибири тяжелы, работы много, благоустройства мало, дороги отвратительны, А.П. Чехов находит в ней и своё собственное очарование.

С не меньшей выразительностью описывает Сибирь Глеб Успенский, ещё до своей поездки в этот дикий край, ещё только предчувствуя, что увидит, но – вот что для нас особенно интересно! – уже имея перед глазами некий сформировавшийся *стереотипный* образ:

Казалось мне, не к небу, не к солнцу рвётся там природа и человек, и не на солнце родится и живёт там всякое богатство, <...> а живут они и рождаются в самых глубоких недрах земли, в соседстве с трупами мамонтов, ихтиозавров и других допотопных представителей <...>

Человек не только не перескакивает здесь через облако и не ездит выше чёрной тучи, но лезет под землю, в темную глубину самой непроходимой и непроницаемой тьмы, копошится в ледяной грязи, в ледяной воде, добывает богатства под ударами нагайки, под угрозой пули, под приманкой сивухи.

Страшна казалась мне эта тёмная, глухая, бесконечная тайга, но ещё страшней было знать, что в этой-то бесконечной тайге, может, бежит человек. Страшно то, что человеку надобно бежать, обрывая в чаще леса своё платье, рубаху, тело, бежать без оглядки, «не тимиши, не емиши» [Успенский 1957].

Такой мрачный образ, по признанию самого Успенского, возникший у него ещё до поездки в Сибирь, больше неосознанный, чем осознанный, впоследствии в чём-то подтвердился, но в чём-то был и опровергнут, смягчён и конкретизирован. Так, уже в Сибири, сравнивая берега рек Томи и Оби, Успенский пишет:

Река Томь была действительно «река», то есть были у неё ясно видимые берега, и притом берега живописные, и виднелись по этим берегам кое-какие строения, в которых, очевидно, жили живые люди; всё это говорило, что бесконечная водяная пустыня Оби, без берегов и почти без признаков человеческого жилья, окончилась, что начинаются «жилые места», что скоро можно быть опять среди людей, которые «живут», а не только «едут», и думают и говорят лишь о том, что «много ли, мол, проехали?» да «скоро ли приедем?» [Успенский 1957].

Неприветливая картина вырисовывается и из рассказа В.Г. Короленко «Ат-Даван», подробно и реалистично описывающего берега суровой северной реки Лены. Ленские горы здесь «усеяны сплошь густою древесною падалью», а «трупы деревьев запорошены снегом, с вырванными из почвы, судорожно скрюченными корнями» [Короленко 2010: 437]. И повсюду на вёрсты вперёд перед глазами только «белые склоны с траурной каймой, “пади” (ущелья), таинственно выползающие откуда-то из тунгусских пустынь, холодные туманы, которые тянутся без конца...» [Короленко 2010: 438]. Вновь природа Сибири создаёт ощущения величия; заставляет понять, сколь ничтожен перед ней человек; каким пусть и восхищённым, но непременно подавленным этой суровой красотой должен он себя чувствовать.

Отразился образ Сибири и в поэтическом творчестве русских писателей:

*Нет, полюбить я не смогу
Просторы сумрачной Сибири,
Её тоскливую тайгу,
Её безрадостные шири.
Чужая, дикая страна!
То солнцем проклятые степи,
То снежной глади целина,
То жалко стонущие цепи [Пруссак 1915: 133].*

Получаем достаточно ясную картину Сибири: устоявшееся, почти что стереотипизированное, видение её природы, её всеохватного воздействия на жизнь.

Отдельно стоит образ *сибирского человека*, который оказывается «под стать» всей атмосфере Сибирской земли: *неприкаянный бродяга, горемычный ссыльный* или, того хуже, *каторжник-убийца*. Этот образ прочно укоренился в русском национальном сознании и вполне соответствует «страдальческой» теме на Руси. Впрочем, этот образ неоднозначен. С одной стороны бродяга и каторжник воспринимались в Сибири как *страдальцы*, как люди, которым нужно «подсобить», которых следует пожалеть. С другой стороны, эти люди ненадёжны, их стоит опасаться и отталкивать, чтобы не навлечь на себя беду, не попасться «под горячую руку». Отсюда традиция выставлять на полочку под окном снаружи дома крынку с молоком и каравай хлеба (или любую другую еду). В ней соединились реакции на обе стороны глубоко интериоризированного сибирским сознанием образа бродяги. В сибирских деревнях эта традиция возникла не только из сострадания, но и как залог того, что этот самый каторжник не ограбит, не сожжёт дом и не навредит. И уж совсем иначе выглядит сибирский мужик, когда он не только не помогает беглому каторжнику или бродяге, а сам «охотится» за ним с целью застрелить, избавиться заранее от преступника.

У Д.Н. Мамина-Сибиряка находим множество образов сибиряков: и старый маркер в гостинице, и бедные бабы-крестьянки с молодыми девками-дочерьми, и добытчики золота. В цикле «Сибирские рассказы» автор не придаёт своим образам негативную окраску. В обыденных сюжетах, переданных живым русским языком, перед читателем предстают картины жизни и нравов простых людей – крестьян, золотоискателей, мелких служащих. Здесь мы встречаем истории о том, до чего может довести человека золото, погоня за ним, раз за разом заканчивающаяся неудачей [Мамин-Сибиряк 1958: 67-82]; о том, как из бедности и от безысходности мать готова, несмотря на стыд, «продать» купцам родную дочь, только бы выжить [Мамин-Сибиряк 1958: 32-43]; о том, как мечтает о лучшей жизни бывший крестьянин, ставший золотоискателем и медленно спивающийся [Мамин-Сибиряк 1958: 125-133]. По прочтении всех этих рассказов, после знакомства с этими реальными жизненными образами остаётся чувство грусти и печали за свою страну и народ. Справедливости ради стоит заметить, что образы, воплощённые Маминым-Сибиряком, строго говоря, не только сибирские: в значительной мере они строятся на уральском материале, однако перекликаются и с образами жителей более восточных и отдалённых регионов России. Некоторые исследователи отмечают интересное противоречие в текстах Мамина-Сибиряка, напрямую связанное с его идентификацией в литературе как писателя сугубо уральского (своеобразие Урала постоянно подчёркивается самим Маминым во всех его работах [Абашев 2009: 51-59]) и в тоже время как автора, тяготевшего к Сибири. Псевдоним Мамин выбрал для себя весьма символический, отражающий и происхождения автора, родившегося в заводском посёлке Верхотурского уезда. Урал у Мамина всё время «продолжается» вглубь страны, сливается, *смешивается с Сибирью*, поэтому назвать его исключительно уральским писателем было бы не вполне верно [Митрофанова 2008]. Это слияние Урала с Сибирью в дальнейшем развивается у Мамина-

Сибиряка до уровня единения изначальной Руси и Сибирского края. И хотя к сибирскому творчеству писателя можно отнести только несколько романов и сборник «Сибирских рассказов», в них явственно проступают многогранные образы края как вольного пространства, житницы России, земли сильных, но трагичных героев наподобие первооткрывателя Сибири – Ермака [Эртнер 2008].

По сравнению с образом плута, ярко описанного в том числе и у Мамина, куда более односторонним и производящим угнетающее впечатление предстаёт перед читателем образ сибирского человека в стихах ссыльнопоселенца Павла Второва. Мало того, что Сибирь у Второва край «откуда нет возврата», где мысль «цепенеет», «где леденеет мозг и в сердце стынет кровь», там и люди «как сама природа беспощадны, бездушны, как гранит, и холодны как лёд» [Второв 1909: 27].

Реальные люди или выдуманные образы скрываются за вышеназванными персонажами, остаётся актуальным вопрос: *был ли свой герой на сибирском фронтире?* Речь идёт о герое как фактическом, *реальном*, некоем аналоге американского фронтисмена, упорно и непременно *поступательно* осваивавшего угрюмый край трудом рук своих, – так и герое *воображаемом*, наподобие заморского благородного «джентльмена-ковбоя» или благополучного высокоморального фермера. И в чьём сознании отпечатался этот образ – в сознании людей, живших только к западу от Урала, только к востоку от него, или по обе стороны разделившего Россию Камня?

Первый – и, пожалуй, единственный, – кто приходит на ум; первый, чьё имя в общественном сознании и к востоку, и к западу от Урала прочно ассоциируется с эпитетом «герой», это *Ермак*. Однако сразу же бросается в глаза его особенность – это образ, написанный мрачными красками, *величественный и трагичный* одновременно.

Как отмечал А.Д. Агеев, Ермак – это герой трагедии, и отношение к нему соответствующее [Агеев 2002: 109]. Добавим к этому: Ермак – герой-страдалец, герой жития, а не романа. Даже его зрительный образ вплоть до появления знаменитой картины В.И. Сурикова был слишком обобщенным, слабо детализированным – в отличие от нарисованных Брокком, Бергером и Андриолли живых, реалистических и индивидуализированных портретов Зверобоя – Кожаного Чулка – Следопыта, хорошо знакомых не одному поколению юных читателей Купера. В случае Ермака это был образ с довольно широко распространенной в XVII – XVIII вв. парсуны, то есть наполовину иконический.

В этом смысле Ермак значительно *дальше* отстоял как от реальной жизни, так и от её романтической версии, нежели герои Дикого Запада. Он был тем, кому по заслугам воздаётся уважение, кого можно «благодарить» за Сибирь – но не тем, кому хочется *подражать*, чей подвиг вызывает желание его повторить.

Вероятно, можно было бы посчитать героем Сибири совсем иного человека, иного по социальному прототипу, нежели «ковбои» Запада. Самого *простого* человека, упорного «трудягу», который изо дня в день борется с суровой сибирской природой, не жалеет ни сил, ни здоровья, ни души, чтобы только выжить, «выбиться» в люди, устроить свою жизнь в этом краю, обеспечить свою семью и будущие поколения. Пожалуй, в случае с Сибирью герой неявен, поскольку основной его героизм в том и заключается, что он просто выживает, несмотря ни на что [Чехов 1956: 6]. Однако тут возникает сомнение в том, могла ли среда, образуемая такими *реальными* героями, породить героя типизированного, *мифического*, с сильным и привлекательным образом. Ведь раз столько сил уходило у сибиряка на простое выживание, у него уже не возникало стремление искать смысл существования, желание учиться чему-то новому, развиваться в разных направлениях, глубоко осмысливать свой жизненный опыт, искать и находить ответы на вопросы, выходящие за пределы узкой обыденности! Примерно так видел сибирского мужика-крестьянина другой такой же «мужик», толковавший А.П. Чехову про «бесталанность» сибиряков:

«Я вот что хочу вам объяснить... – говорит он вполголоса, чтобы хозяин не услышал. – Народ здесь в Сибири темный, бесталанный. Из России везут ему сюда и полушубки, и ситец, и посуду, и гвозди, а сам он ничего не умеет. Только землю пашет да вольных возит, а больше ничего... Даже рыбы ловить не умеет. Скучный народ, не дай бог, какой скучный! Живешь с ними и только жиреешь без меры, а чтоб для души и для ума – ничего, как есть! Жалко смотреть, господин! Человек-то ведь здесь стоящий, сердце у него мягкое, он и не украдет, и не обидит, и не очень чтоб пьяница. Золото, а не человек, но, гляди, пропадает ни за грош, без всякой пользы, как муха или, скажем, комар. Спросите его: для чего он живёт?» [Чехов 1956: 21-22].

Образ Сибири-кормилицы и образ свободного крестьянина

Мрачный «дикий» край, где нет закона, где люди – то ли звери, то ли бесталанные «мухи» и где даже покоритель Сибири вызывает противоречивые чувства и не побуждает своим примером к действию – вот рассмотренный нами выше первый устоявшийся образ Сибири. Но существует и *другая* Сибирь – благодатный край, где вдоволь природных богатств и земли, где обильно родится хлеб, где «воля вольная» и нет над крестьянином ни власти помещика, ни государства; где возможно уйти на новые земли, где нет запретов на веру. Это почти что «рай на земле», то самое мифическое Беловодье за Камнем, о котором мечтает русский крестьянин. Как и из чего создавался этот – противоположный первому – образ? Насколько он точно отображал действительность? Какого «сибирского человека» он породил, какого дал «героя»?

Образ Сибири как кладезя богатств формировался *искусственным* путем: отчасти силами правительства, стремившегося увеличить приток крестьян в Сибирь и полноценно заселить её; отчасти – под влиянием идеалистических воззрений декабристов, а затем областников. В какой-то мере и сами сибиряки-старожилы способствовали созданию сказочного видения жизни в Сибири.

Сведения о Сибири были достаточно скудными, неточными и крайне противоречивыми. Уже поэтому в среде крестьян ходили легенды о сибирских вольных просторах, совсем иной вольготной жизни. Бытовали, впрочем, и противоположные данные – тягота суровой сибирской природы, тяжком труде, угрюмости края. Если в США по инициативе правительства и отдельных групп граждан проводились разведывательные экспедиции скорее практического, нежели чисто географического свойства, то в России с «разведкой» такого рода дела обстояли неважно. Государство – даже когда оно стало всячески пропагандировать переселение в Сибирь – не уделяло ей должного внимания, а сами крестьяне были слишком ограничены в средствах, чтобы иметь возможность полноценно собирать сведения о месте переселения. Были ходоки-разведчики, но далеко не всегда и не все семьи переселенцев в Сибирь могли позволить себе роскошь провести подобную разведку. Крестьяне шли в Сибирь, ничего толком о ней не зная, лишь бы избавиться от помещичьей неволи (до 1861 г.) или от малоземелья (после 1861 г.).

«Беловодский» образ Сибири просматривается и в сочинениях путешественников, и в произведениях ссыльных из числа русских интеллигентов – да и в незамысловатых словах самих сибирских жителей. Так, наравне с описанием традиционного «края страданий» Гектор Бильдзукевич в своем «Живописном альбоме» восторженно восклицал:

А между тем этот отдаленный край изгнания – Даурия, прекрасная и богатейшая страна из всех мест Сибири! Ее плодороднейшие поля не требуют удобрения и с избытком вознаграждают труд земледельца – луга покрыты роскошной флорой – воды изобилуют множеством рыб – в лесах плодится пушистый соболь, а в недрах гор неисчерпаемые богатства минерального царства [Туманик 2004: 137-152].

Так рассуждал человек лишь приезжавший в Сибирь, но не живший в ней. В то же время и крестьяне-старожила, прожившие в Сибири не один год и знающие все трудности этой жизни изнутри, на вопрос «чем хороша Сибирь и плоха матушка-Россия?» отвечали схожим образом:

Только што там в матушке Рассеи хорошего? Кругом жандармы да палки, унижение да изгальство, подневольность да неволя. Человек там ничто: хуже скотины какой – все его лупят да приговаривают. Свободы там нет, мил человек!... А тут в матушке-Сибири вольность для человека есть. Посмотри кругом: и просторы и земли, и реки и леса. Власть притеснительная слабая супротив российской. В зубы никто не тычет, в глаза не колет. Хоть – хлебопашествуй, хоть – рыбачь, хоть охотничай, хоть – иди на вольную, куда глаза глядят [Шиловский 2003].

В этих словах Д.К. Кухарева, простого сибирского старожила, сказанных в его разговоре с политическим ссыльным Казимировым, хорошо отражается основной приманчивый в глазах русских крестьян образ *вольной* Сибири, где нет над крестьянином начальства, где возможно самоуправление (если не формально, то фактически). Понятие воли в данном случае мало чем сходно с демократической свободой, воспетой в США. Это не правовая свобода, не свобода выбора, защищенная законом, а скорее *личная* независимость, полная и абсолютная, как в *дикой* природе, *не подчинённой никому*. Это воля делать всё, что угодно, – и жить достойно, и трудиться, и разбойничать, и даже умереть. Это возможность, не обусловленная ничем, кроме волеизъявления самих людей. Такая концепция свободы-воли очень сродни «русскому духу», стремлению искать лучшей доли посредством бродяжничества, странничества – хотя зачастую и без конкретной цели в пространстве. Здесь же отметим и другую важную коннотацию: всего вдоволь и неограниченно, а главное – много земли, что особенно ценно для крестьянина.

Добавляет очарования Сибири и творчество одного из главных столпов сибирского областничества – Н.М. Ядринцева. В отличие от Успенского и Чехова, он жил в Сибири, знал её лучше и больше, чем кто-либо в Европейской части России. У Н.М. Ядринцева была не просто ярко выраженная, но осмысленная и сознательно демонстрируемая региональная – сибирская – идентичность. Именно поэтому он был, пожалуй, довольно пристрастен в своём отношении к Сибири; воспринимал её как Родину, любимое и дорогое его сердцу место. Так, алтайскую природу Н.М. Ядринцев описывает грозной и торжественной, подавляющей человека, но при этом живой, богатой растительностью и создающей двоякое – и тревожное, и приятное ощущение [Ядринцев 1979; Зеленский 2008]. Есть в этом описании и восхищение великолепием стихии, и страх перед ней, и любовь к дикости Сибири.

Схожими чувствами пронизаны стихи одного из самых лучших поэтов-патриотов [Зубарев 2007] Сибири XIX века Г.А. Вяткина:

Бобырган¹

*Как привратник, стоит с незапамятных пор
Бобырган у подножия гор,
Одинок и угрюм, величав и могуч,
Он вознесся вершиной до туч.
Перед ним – неоглядная ровная степь,
А за ним только горная цепь.
Только горы одни – и вблизи и вдали –
Как застывшие вздохи земли... [Вяткин 1985: 23-25]*

¹Бобырган (Бобырган) – гора (1009 м н.у.м.) в Северном Алтае в составе Семинского хребта.

На фоне положительного образа благодатного края возникает и совершенной иной образ сибирского *жителя*. Это уже не каторжник и не бродяга – сибиряк предстаёт «поселянином, стоящим несравненно выше зауральской братии!.. Здесь всё <...> проникнуто сознанием силы и собственного достоинства. <...> С виду он [сибиряк] молчалив, холоден, недоверчив – не охотник расточать нажитое им добро; но зато до крайности гостеприимчив и в своем доме радушен. <...> Сибиряки в особенности отличаются чистоплотностью; во всём хозяйстве содержат самый строгий порядок» [Туманик 2004].

Н.М. Ядринцев отмечал: «Сибирский крестьянин чувствует себя равноправным, он смело входит в комнату, подаёт вам руку, садится с вами за стол...» [Ядринцев 2000: 75]. Одновременно присутствует в сибирском крестьянине недоверие, позиция угодливости, стремления откупиться, что приравнивается к хитрости, а не к постыдной слабости. При этом хитрость в понимании сибиряка – главное свойство по-настоящему умного человека. Это значит – не быть обманутым, не дать себя «надуть»; ну а самому суметь обмануть – также не зазорно. Н.Д. Фонвизина сходным образом выделяла черты в характере сибиряка:

...ласков, добродушен, большой хлебосол, но не клади ему палец в рот – он без намерения, но откусит. Сибирское основное свойство – недоверчивость и осторожность, чтобы не дать в обман, и если можно самому обмануть. Быть обманутым считается за стыд. Сибирская скромность, по-моему, скрытность... [Андюсев 2003]

Хороший пример подобной *незлобливой хитрости, стремления одурачить* находим у Д.Н. Мамина-Сибиряка в рассказе «Клад». Здесь двое сибиряков двое суток не отпускали от себя приятеля, поили водкою и делали вид, будто он едет по своим делам; сажали его пьяного в карету и, имитируя езду, затем вынимали из неё якобы на следующей уже станции [Мамин-Сибиряк 1958: 76].

Этот образ *хитреца* дополняет Н. Пестов, описывая уже совсем иные качества местного жителя:

Сибиряки... народ человеколюбивый и снисходительный, за всем тем, что они окружённые ссыльно-преступниками. <...>

Нравы местных жителей кротки, благонравны и гостеприимны: они каждого приезжающего принимают ласково, рады разделить с ним, что имеют последнее, и даже кто из гостей в знак благодарности за такой приём и угощение будет благодарить деньгами, то сим навлечет хозяину и на себя неудовольствие, а деньги не примутся [Пестов 1833: 286-287].

Пишет о сибиряке и Чехов, в целом рисуя его собирательный образ как человека ласкового, гостеприимного, любящего комфорт и чистоту, но не расположенного к искусствам и лёгкому отдыху – слишком уж для этого сурова жизнь в Сибири. «Оттого, что круглый год ведёт он жестокую борьбу с природой, он не живописец, не музыкант, не певец. По деревне вы редко услышите гармонику и не ждите, чтоб ямщик затянул песню» [Чехов 1956: 13], – таков у А.П. Чехова сибирский крестьянин. Отмечает писатель и большую честность сибирских жителей: дверей здесь не запирают и краж не боятся [Чехов 1956: 15]. Парадоксально, но образ честного сибиряка, который не украдет ни у своего, ни у приезжего, уживается с другим, уже описанным выше – образом хитреца, которому не зазорно обмануть и «надуть» другого.

Проступают в образе сибиряка и *индивидуалистская жилка*, невероятная выносливость и упорство, воспитанные суровыми условиями жизни; высокая конкурентность, соперничество с соседом. Есть в нём и гораздо большее, нежели в русском крестьянине, стремление к *независимости*; мечта создать «своё царство» без начальства, где ты сам себе голова и хозяин.

В силу разнообразия пространств Сибири и «народный герой» здесь разнится: то это трудолюбивый крестьянин с чувством собственного достоинства, свободомыслящий и не гнушающийся никакими способами в построении лучшей жизни; то бывший беглый каторжник, прибывший где-нибудь на переправе на пост паромщика, вечно ожесточенно и в холоде борющийся с разливами рек [Чехов 1956: 8]; то алтайский горнорабочий, тоже бывший крестьянин, озлобленный, беспощадный, непримиримый и в тоже время сильный. Вот как в своих путевых заметках по Алтаю описывает последний тип героя Н.М. Ядринцев:

Тип заводских мастеровых и фабричных резко отличается от соседних крестьян. Фабричные мастеровые отличаются от рабочих рудников и заводов, последние исключительно заняты тяжелыми земляными рудничными работами и плавкой металла. Одна жизнь – циклопов, другая – саламандр. Эти заводские рабочие носят местное название «бергалов». Бергал – грозное имя окружных местностей. Бергал в работе зверь. Пустую, но напрасную обиду ни за что не снесет. Выругает так, что любая барыня, услышав, упала бы в обморок, или еще хуже – угостит палкой или ломом. Слыша над собой вечно брань, он сам олицетворенная хула. Человек давно без собственности, без будущности, он беззаветен, беспечен, разгулен, дерзок; вечно с насмешкой на устах; он не привык к жалости, ибо он не видел ее; озлобленный, беспощадный, он гроза, куда появляется. Этот заводской пролетарий давно потерял образ мирного, благодушного крестьянина [Ядринцев 1979].

Это тоже типизированный и субъективный образ, созданный одним конкретным человеком. Зачастую именно так образы в Сибири возникали, крепили, приобретали власть над умами людей и превращались в массовые.

Был у Сибири и ещё один герой, пришлый и неясный. Это *поселенец*, нередко ничего практически не имевший, кроме упорного желания обрести «свое место». Он был готов работать, не покладая рук; просил о работе сам, лишь бы позволили ему остаться и обосноваться на новой земле. Для него не преграда ни его бедственное положение, ни отсутствие средств; ни то, что он пришёл в дикий сибирский край, не зная условий; ни то, наконец, что у него нет ни документов, ни бумаг на переселение [Зеленский 2008]. И в этом упрямстве переселенца также проглядывает его недюжинная сила.

Образы без мифа

Сибирь породила очень противоречивые, противоположные по своей сути образы в глазах россиян. Их создавали и те, кто там жил; и те, кто попадали туда в ссылку; и те, кто путешествовал по Сибири или приезжал на ревизии; и даже те, кто никогда там не бывал. В дальнейшем не только путешественники, очевидцы, выходцы из Сибири и представители просвещённой интеллигенции писали о Сибирском крае, но и многие исследователи [Эртнер б.г.; Вахтин 2011]. На наш взгляд, неверно было бы приписывать все эти без исключения образы Сибири и упрощать восприятие края до набора стереотипов. Точно о формировании «типического» образа Сибири в литературе высказался А.Н. Радищев:

Издавна не нравилось мне изречение, когда кто говорил: так водится в Сибири; то или другое имеют в Сибири – и все общие изречения о осьмимысячном пространстве вёрст; теперь нахожу сие вовсе нелепым. Ибо как можно одинаково говорить о земле, которой физическое положение представляет толико разнообразностей, которой и нынешнее положение толико по местам между собою различествует, колико различны были перемены, нынешнее состояние её основавшие; где и политическое положение и нравственность жителей следует неминуемо положению естественности; где подле дикости живет просвещение, подле зверства милосердие; где черты, пороки от ошибок и злость от остроумия отделяющие, теряются в незримом земель пространстве и стуже за 30 градусов [Радищев 1950: 246].

Вернёмся к поставленному нами вопросу о существовании в Сибири мифа фронта и его проявлениях и свойствах.

Считается, что Сибирь не только служит примером ещё одного (наряду с американским) фронта, но и *мифологизировалась* в достаточной степени, чтобы можно было говорить о формировании полноценного *сибирского мифа*. Так, Н.В. Ковтун, исследуя «сибирский текст», пишет: «Из географического места Сибирь превращается в понятие “нравственное, сулящее какое-то неясное, но желанное обновление” [Распутин 1994: 9]» [Ковтун 2008: 102]. Этот отход от буквального восприятия края исключительно как региона физико-географического уже несет в себе зачатки образности, мифологичности, отражения сибирской земли в культуре. Ещё более чётко выражает свое мнение в этом вопросе Г.В. Сильченко, называя Сибирь «пространством лиминальной полусмерти, позволяющим вернее оценить судьбу как отдельного человека, так и целой страны» [Сильченко 2008: 115]. Исследуя образ Сибири и сибирский интертекст в поэзии А. Башлачёва, автор приводит суждение о том, что Сибирь «в национальном сознании мифологизировалась, стала общепонятным хронотопическим образом определённого способа присутствия человека в мире» [Тюпа 2006: 254]. На наш взгляд, можно согласиться с этим утверждением, но только если рассматривать сам сформированный сибирский миф сугубо как отражение культуры; реактуализацию старых ценностей, однажды заданного идеала – *не влекущие* за собой глобальных жизненных социальных, идейных, политических направленных вовнутрь и вовне изменений.

Однозначно можно сказать, что Сибирь «произвела» многочисленные и противоречащие или дополняющие друг друга *образы*, однако, по нашему убеждению, *далее образов формирование мифа не пошло*.

Не способствовало развитию мифа и *отсутствие полноценного героя* фронта, на которого можно было бы ориентироваться; и отсутствие какой-либо сильной *идеологии* на почве самой Сибири – веры, которая дала бы толчок развитию настоящей гражданственности у населения, понятия права и действующего закона. Поэтому на американском Западе мы можем говорить о выработке мифа фронта, тогда как в Сибири – лишь о рождении различных *образов* края.

Этот регион должен пройти еще долгий путь, прежде чем он сможет обрести *и своих героев, и свою идеологию*. Пока мы наблюдаем лишь попытки «освоить» Сибирь, в основном, «сверху». И пока нельзя считать, что эти попытки дали положительные результаты. Ни царская, ни советская власть не смогли создать в Сибирском крае «рай на земле» – причём ни в действительности, ни в виде образа в массовом сознании. Возможно ли в условиях российской действительности построение «второго Запада», сколько это займёт времени, каких усилий потребует от власти и/или от населения – вопрос остаётся открытым.

Литература

Абашев В.В. Мамин-Сибиряк: у истоков геопоэтики Урала // Уральский исторический вестник. 2009. №1(22).

Агеев А.Д. Сибирь и Американский Запад: движение фронтиров. Иркутск: Иркутский ун-т, 2002.

Андюсев Б.Е. Ментальность сибиряков // Андюсев Б.Е. Сибирское краеведение. 2-е изд. Красноярск: РИО КГПУ, 2003. С. 24-34.

Вахтин Н. От «дикости» к «Другому»: к эволюции образа Сибири и Севера в русском языке // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia XII. Мифология культурного пространства: К 80-летию С.Г. Исакова. Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2011. С. 203-216.

Ващенко А.В. Суд Париса: Сравнительная мифология в культуре и цивилизации. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2008.

- Второв П. Из песен изгнания // Молодая Сибирь. 1909. №2.
- Вяткин Г. Открытыми глазами [Стихи]. Омск, 1985.
- Зеленский В. Великий радетель Сибири. Николай Михайлович Ядринцев и его время // Сибирские огни. 2008. №2. <http://magazines.russ.ru/sib/2008/2/ze8.html>.
- Зубарев А. Георгий Вяткин – известный и неизвестный // Сибирские огни. 2007. №3. <http://magazines.russ.ru/sib/2007/3/zu10.html>.
- Ковтун Н.В. «Сибирский текст» в прозе второй половины XX века (на материале романа С. Залыгина «Комиссия») // Литература Урала: История и современность: Сб. ст. Вып. 4. Екатеринбург: Изд. Уральского ун-та, 2008. С. 102-110.
- Короленко В.Г. В дурном обществе: Сб. М.: Астрель: АСТ, 2010.
- Мамин-Сибиряк Д.Н. Собр. соч. в 10-ти тт. Т. 5. М.: Правда, 1958.
- Мелетинский Е.М. Общее понятие мифа и мифологии // Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 634-640.
- Митрофанова Л.М. «Урал», «Зауралье», «Россия» и «Сибирь»: Перекресток понятий в творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка // Литература Урала: История и современность: Сб. ст. Вып. 4. Екатеринбург: Изд. Уральского ун-та, 2008. С. 130-135.
- Новая философская энциклопедия / Под ред. В. С. Стёпина: В 4-х тт. М.: Мысль, 2001.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999.
- Панарина Д.С. Феномен фронта в культуре Америки и России (США и Сибирь): Дисс. ... канд. культурологии. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012.
- Пестов И. Записки об Енисейской губернии Восточной Сибири, 1831 года. М.: Университетская типография, 1833.
- Пруссак В. Цветы на свалке. Стихи. Пг., 1915.
- Радищев А.Н. Избранные произведения. М.-Л.: Детгиз, 1950.
- Распутин В. Собр. соч.: в 3-х тт. Т. 3. М.: Молодая гвардия; Вече-АСТ, 1994.
- Родигина Н.Н. Образ Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX – начала XX в.: Дисс. ... докт. истор. наук. Новосибирск, 2006.
- Сильченко Г.В. Образ Сибири и сибирский интертекст в поэзии А. Башлачева // Литература Урала: История и современность: Сб. ст. Вып. 4. Екатеринбург: Изд. Уральского ун-та, 2008. С. 111-115.
- Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1984.
- Сочинения Аввакума. Житие Аввакума // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга 2-я. М.: Художественная литература, 1989.
- Туманик Е.Н. Сведения о Восточной Сибири и ее Приморской области в Живописном альбоме Гектора Бильдзукевича // Сибирский плавильный котёл: социально-демографические процессы в Северной Азии XVI - начала XX века: Сб. науч. ст. / Отв. ред. Д.Я. Резун. Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2004.
- Тюпа В.И. Анализ художественного текста: Уч. пособие. М.: Academia, 2006.
- Успенский Г.И. Поездки к переселенцам // Успенский Г.И. Собр. соч. Т. 8. М.: ГИХЛ, 1957.
- Чехов А.П. Из Сибири // Чехов А.П. Собр. соч. в 12-ти тт. Т. 10. М.: ГИХЛ, 1956.
- Шиловский М.В. Основные направления политики правительства по отношению к Сибири во второй половине XIX – начале XX века // Сибирское общество в контексте модернизации XVIII – XX вв.: Сб. материалов конференции / Под ред. В.А. Ламина. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2003.
- Эртнер Е.Н. Человек и природа в «сибирских» романах Д.Н. Мамина-Сибиряка // Литература Урала: История и современность. Сб. ст. Вып. 4. Екатеринбург: Изд. Уральского ун-та, 2008. С. 136-143.
- Эртнер Е.Н. Образ Сибири в русской литературе XIX века // Язык и литература [Тюмень]. Вып. 6. <http://frgf.utmn.ru/last/No6/text16.htm>.

Ядринцев Н.М. Сибирская Швейцария (Путевые записки об Алтае) // Литературное наследство Сибири / Гл. ред. Н.Н. Яновский. Т. IV. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. С. 110-123.

Ядринцев Н.М. Сочинения: Т. 1. Сибирь как колония: Современное положение Сибири. Её нужды и потребности. Её прошлое и будущее / Под ред. С.Г. Пархимовича. Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2000.

Bascom W.: The Forms of Folklore: Prose Narratives // Journal of American Folklore. 1965. Vol. 78. No. 307. P. 3–20.

Doyle B. Mythology [created on 17 April 1997] // Encyclopedia Mythica. <http://www.pantheon.org/articles/m/mythology.html>.

Honko L. The problem of defining myth // Sacred Narratives: Readings in the Theory of Myth / Ed. by Alan Dundes. Berkeley – Los Angeles: Univ. of California Press, 1984. P. 41-52.